

ОСТАНОВИТЬСЯ,
ОГЛЯНУТЬСЯ

Я В СТИХАХ предпочитаю прозу

Леонид Мопкий

1913–1979

Старая дорога

То косые дожди и грязища,
То жара и свинцовая пыль,
А вокруг ни куста, ни жилища,
Только высохший старый ковыль.
Не зови, не придут на подмогу,
Сам шагай,
Выбивайся из сил.
Погляжу я на эту дорогу
И скажу, кто по ней проходил,
Кто, откуда,
Богат ли, убогий
И во что он обут и одет.
Без исхоженной этой дороги
И России, мне кажется, нет.
Нет России без пыли свинцовой,
Без седой желтизны в ковыле,
Без потерянной, старой подковы
На сухой и щербатой земле,
Где скрипели телеги и дроги
Бесконечные тысячи лет,
Нет России без старой дороги,
Без ухабов, без выбоин, нет.
Потому не раздумывай,
Трогай.
И не сетуй, что ты устал.
Жизнь моя,
Ты, как эта дорога,
Где подковы я потерял.



Осень

И снова всё те же картины.
 Такою всегда ты была.
 Наверно, сейчас паутина
 Тропинки в лесу оплела.
 А листья всё суше и суше
 И близок гусей перелёт.
 Прощальные песни лягушек
 Доносятся с ближних болот.
 Камыш склонился устало,
 И стала спокойной вода.

Такой ты была и осталась,
 Такою ты будешь всегда.
 Такою люблю тебя, осень,
 Улыбку твою – небеса,
 Глаза твои – синие плёсы,
 Багряные кудри – леса.
 Люблю и грущу, что придётся
 Уйти навсегда от всего.
 Любимое всё остаётся,
 Уходим лишь мы от него.

Весна

100

Опять этот мартовский ветер
Развевал метельные сны.
И снова и снова на свете
Тепло от дыханья весны.
Дымятся и тают овраги,
Журчит по канавам вода,
И шхуны из белой бумаги
Плывут неизвестно куда.
В пальто рыжеватого цвета
Идёт мальчуган за водой.
Его уже видел я где-то
Какой-то прошедшей весной.
И видел, и, кажется, знаю,
В сиянье весеннего дня
Идёт он, смеясь и играя,
Но он не похож на меня.
Ему эта роща дороже
Всего, что от вёсен я жду...
И только, как в детстве, берёзы
Видны у пруда и в пруду.
И только дымятся овраги,
Журчит по канавам вода,
А шхуны из белой бумаги
Ушли неизвестно куда.



Наша жизнь –
Сплошной марафон,
Не поймите меня превратно,
Это – бег от друзей и от жён,
От себя туда и обратно.
Это – бег, постоянный бег
По дороге, совсем не гладкой
Из былого в грядущий век,
Ну, конечно, не без оглядки.
Это – бег, как ни труден он,
Но беру ещё расстоянья,
Продолжаю свой марафон,
Перейдя на второе дыханье.

Рыболов

Денёк обжигающий, летний,
Купается солнце в реке.
Стоит мальчуган восьмилетний
И удочку держит в руке.
К воде он склоняется низко –
Скорей бы клевало, скорей!
У ног его плещется низка
Обманутых им пескарей.
С уловом вернётся домой он,
Представив ещё на ходу,
Как рыбку свою он обмоет,
Положит на сковороду.
И будет (ну как же не будет?)
Соседский расстроенный кот,
Мечтая о лакомом блюде,
Напрасно облизывать рот.
Стоит восьмилетний, и рад он,
Едва поплавок задрожит...
Смотрю я завистливым взглядом
На то, как легко ему жить;
Что он ко всему безучастен –
К тревогам людским и беде,
И может поймать свое счастье
В простой неглубокой воде.

Погоди, небесное

У меня без этого
Неувязок много.
У меня без этого
Трудная дорога.
И земле как следует
Не сказал я слова,
Многое неведомо,
Но уже готовы
Новые терзания,
Новые тревоги!
Стало мироздание
На моей дороге.
Новое, чудесное,
Мудрое такое...
Погоди, небесное,
Дай понять земное.



Трамвайных остановки три-четыре
От города – и дом, и тишина.
Речушка измельчавшая видна,
Ничем не примечательная в мире.

Прибрежная трава отражена
С клочком небес в речушке этой самой,
Но почему-то кажется она
Дороже всех морей и океанов.

Где б ни был ты, а всё издалека
Глядишь в родную сторону. Бывает,
Что вдруг тебя всего одолевает
Какая-то нелепая тоска.

По серому промокшему забору,
Капустной грядке, старенькой сосне
И прочему, ни в мыслях, ни во сне
Тебя не покидающему вздору.

И ты идёшь, забыв про всё на свете,
Туда, где льётся тихая вода,
Как будто повторить ты хочешь этим
Свои неповторимые года.

Гармонь

Играл германец на гармонике
Вокруг толпившимся друзьям,
Мотив выдавливая тоненький,
Совсем чужой её мехам.
Играл баварец складно, худо ли,
Но не качал он головой,
Не поднимал её от удали,
Не опускал её с тоской.
И как бы клавиши ни гладила
Пришельца бледная ладонь, –
С чужою песнею не ладила
Военнопленная гармонь.
И даже вздрагивала, вроде бы,
Мехами алыми дыша,
Как будто в ней по вольной родине
Рыдала русская душа.



Я, друзья, не становился в позу,
Не читал пронзительных стихов.
Я в стихах предпочитаю прозу,
Из простых составленную слов.

В них делю я грусть мою и радость,
Посвящаю жизни весь свой дар,
Никаких мне почестей не надо.
И совсем убог мой гонорар.

Может быть, сбивался я с дороги,
Может быть, где нужно, не смолчал,
Но за все сомненья и тревоги
Я годами жизни отвечал.

Но всегда любил я час рассвета,
К ясным дням влекла меня мечта.
Хорошо, когда душа поэта
До конца открыта и чиста.



А мне-то, мне-то разве сладко,
Под силу, что ли, да под стать
Вдвоём с болотной лихорадкой
Гнилое время коротать?

Я писем жду, твоей заботы,
Страниц участия и добра,
Но, кроме грусти, ничего ты
Не можешь выжать из пера.

Я здесь живу не на досуге,
Не для себя, а для людей.
С меня достаточно лачуги,
Избы без окон, без дверей.

А вот брожу, а вот кочую.
Я город строю здесь в глуши,
И потому, тебя прошу я,
Своею грустью не смеси.

Не надо скорби, лучше вкратце
Ты напиши мне: «Будь здоров».
И посоветуй, как спастись
От малярийных комаров.



Поплакали немного. А потом
Заговорили снова о простом,
Земном, житейском, тут же, у могилы:
Дрова, мол, нужно заготовить в срок,
Покрыть железом дом. И не уныло,
А бодро зашагали в городок.
По рюмке осушили. Закусили.
Потом запели, только не псалом,
А просто песню, – ведь живые были,
Живые люди были за столом,
Живые, не без совести и чести,
Совсем не помышлявшие о зле...
Не надо плакать. Лучше пойте песни,
Когда меня не станет на земле.



Мне иногда себя бывает жалко.
Свои я руки вижу на груди,
Прощальный плач за белым катафалком
И траурные кони впереди.
Когда-нибудь придётся расставаться –
Я человек, и мне не вечно жить,
Я человек, и это может случиться,
Что завтра же придётся уходить.
Мои друзья пусть обо мне судачат,
Что, дескать, пил и потерял друзей.
Но толки эти ничего не значат,
Я буду мёртв и, значит, всех умней.
Когда-нибудь настанет час разлуки,
Когда я лягу, чтобы не вставать,
И ты придёшь, и ты скрестишь мне руки,
Последняя заботливая мать.
Ты можешь всех смести единым духом,
И ты сметишь любого всё равно,
Но не меня, но не меня, старуха,
Поэтам умирать запрещено.

Единственная встреча

Видел я его лишь однажды. Было это в Доме печати на Баумана, я сидел в кабинете редакторов Марка Зарецкого и Кияма Миннибаева и изучал скучную обстановку. Немытые мутные окна, тоскливые стены, выкрашенные до половины тёмно-зелёной краской, канцелярская мебель и дверь, обитая чёрной клеёнкой.

Зарывшись с головой в ворох рукописей, Марк Давидович вычитывал гранки и пыхтел беломориной, которую прятал в бороде. Киям-абый жадно втягивал ноздрями свежий сквознячок из форточки. Вдруг дверь скрипнула, и в щель просунулась одноглазая голова. Повязка была пиратская – наискосок.

Зарецкий: «Тебе чего?»

Одноглазый: «Рубль до гонорара!»

Зарецкий: «Нету! Вот, на трамвай только и осталось...»

Одноглазый: «Эх, мля!»

Голова исчезла, но через минуту опять появилась и подмигнула: «Марк, ну, тогда дай, что ли, закурить!»

Зарецкий берёт со стола пачку, шарит в ней пальцем и удивлённо роняет: «Последняя осталась!» Одноглазый сокрушенно хлопает дверью, но через минут пять вновь возникает.

Одноглазый: «Ну, скажи хотя бы сколько времени?»

Зарецкий смотрит на ручные часы, встряхивает их и смеётся: «Встали, чёрт!»

На этот раз Одноглазый уже исчезает надолго, а Марк Давидович мне: «Знаешь, кто это был? Поэт – Топчий!» И прочёл мне его военнопленную «Гармонию».

В конце недели, когда мы встретились с Зарецким в лито «Горизонт», он рассказал, что та история с появлением в дверях Топчия имела продолжение. Рубль он всё же раздобыл, нашёл ещё одного жаждущего и побегал в Гастроном за вином. Насколько мне помнится, в тот год Казань была наводнена недорогим болгарским вином. Креплёное называлось – «Тырново», единственным недостатком которого была дубовая пробка!

Человека, который вошёл с ним в долю, неожиданно вызвали по срочным делам, и они условились встретиться у Дома печати. Томительно тянулись минуты, горло пересохло, и даже в душный вечер бил озноб...

Наконец, поэт решился, зашёл в туалет Дома печати, уединился в кабинке и начал пропихивать пробку внутрь бутылки, чтобы сделать хотя бы один живительный глоток. С трудом, но это удалось, однако шишकाстый палец бывшего лесоруба намертво заклинило в горлышке. Что делать? Он начал осторожно отбивать горлышко о железную трубу, на которой крепился смывной бачок. Как ни старался Топчий, но бутылка лопнула посередине, и её содержимое ушло в унитаз, а поэт остался с «перстнем» из толстого стекла! Убитый горем, он приплёлся к Зарецкому, и тот металлической пепельницей помог ему отбить этот «перстенёк»...

Много разных историй рассказывал Марк Давидович о Леониде Ивановиче. Поведал он и о том, как поэт лишился своего глаза. Было это в Харькове. Перед самой войной он устроился в городскую газету. Началась война, его признали негодным: то ли плоскостопие, то ли что-то ещё. Делать нечего, пришлось перо приравнять к штыку! Он вдохновенно писал патриотические статьи о силе русского духа и оружия, как вдруг Харьков заняли немцы. Всё произошло неожиданно, и редакцию не успели эвакуировать. Сотрудники пришли утром на работу, а там уже вместо портрета Сталина висит на стене Гитлер...

Через год, Харьков освободила Красная Армия. Всё произошло настолько стремительно, что даже не успели достать из чулана портрет Иосифа Виссарио-

новича. В редакцию ворвались красноармейцы, и один из них без лишних предисловий выбил глаз Топчию! Говорят, после этого он и начал писать простые и гениальные стихи...

Жизнь поэта была далеко не поэтична. Неустроенный быт («Я не люблю уюта, // К чёрту особняки!»), безденежье и «Чёрный человек» в разбитом зеркале.

Погиб он нелепо, переходил улицу (что интересно, совершенно трезвый) и был сбит серым фургоном «вытрезвилочки», который вылетел из-за поворота, как раз с той стороны, где у него не было глаза...

Адель Монрес

Один из троицы

Так уж само собою получилось, что его я воспринимаю как одного из казанской троицы – Юрий Макаров, Геннадий Капранов, Леонид Топчий. Несмотря на то, что они по возрасту, внутреннему миру, по своему поэтическому самовыражению, да и просто внешне были очень разными, их многое объединяет. Во-первых, это поэзия, которая в их жизни была главной любовницей или даже, по словам Блока, женой. Далее – безоговорочный приоритет внутреннего над внешним, полнейшее равнодушие к быту, обывательскому благополучию, для них чужды были понятия карьеры, служебного успеха, впрочем, службу-то как такую они знали лишь кто понаслышке, как сторонний наблюдатель, кто эпизодически, и все трое пребывали в постоянном и хроническом безденежье. Вся троица была общительной, компанейской, имела массу друзей-приятелей, но по сути своей каждый из них был человеком сугубо одиноким и по природе – волком-одиночкой. Волки, как известно, живут стаями, семьями, но встречаются среди них изгои, а также слишком не по законам природы своенравные. И вот они-то от общества себе подобных отбиваются и начинают жить самостоятельно, пренебрегая законами стаи. Топчий был одним из них. Он сравнивал жизнь с бегом от друзей и жён.

Любимое всё остаётся,
Уходим лишь мы от него.

У первых двоих жён вообще не было. Все трое много писали, но порогов издательств не обивали. Геннадий Капранов не увидел при жизни ни одной своей книги, Юрия Макарова под конец стали понемногу печатать, Леонид Топчий стараниями друзей выпустил при жизни в Казани три поэтических книжки форматом с блокнот, толщиной с ученическую тетрадку первоклассника.

И последнее, что их роднило, – все трое пили. При этом Топчий говорил: «Не пьют только больные, гебисты и карьеристы». Последних он как-то особо ненавидел. «Выбей из-под него чиновничье кресло, – кивал Леонид Иванович на имярека, – и он никто, пустое место. А вот спихни поэта с табурета, он всё равно поэт!» Белые воротнички отвечали им взаимностью, презирали – исключительно из-за внешнего вида, манеры поведения, из-за непочтения к себе, дорогим и важным. А может, они видели в глазах поэтов реальное своё отражение и начинали себя ощущать генералами в бане, понимать, кто они такие есть на самом деле?

Троица хорошо знала друг друга, но не более. Они не дружили. Леонид Иванович был постарше. Его выбитый прикладом винтовки глаз напоминал о непро-

стых и неоднозначных для поэта годах войны, которая застала его на Украине, а глубокая поперечная складка на лбу – о недобровольном лесоповале в Сибири.

Ты прости, красавица лесная,
Не поэт я здесь, а лесоруб...

Он и в самом деле был похож на лесоруба – высокий, кряжистый, с длинными руками, узловатыми пальцами-клешнями. А может быть, на пирата со шхуны с лёгкими, косыми парусами, волшебным образом ненадолго пришвартовавшейся в нашем порту. О его пиратской принадлежности говорила и повязка на глазу, и манера разговаривать, общаться. Даже тогда, когда его угощали, казалось, что это он снисходит-угощает. Как-то раз без гроша в кармане он оказался в Доме печати, в единственном в Казани доме, сооружённом в 30-е годы прошлого столетия в стиле конструктивизма и напичканном всевозможными редакциями, типографией, а также в этом здании размещался Союз писателей республики. В то время литконсультантом работал там мой предшественник по этой должности писатель Геннадий Паушкин, как и я, бывший пограничник, только военных времён (на заставе, принявшей первый удар гитлеровской Германии, в живых остались только двое – он и командир). Когда мы с ним встретили в коридоре всегда прохладного летом Дома печати Леонида Ивановича, то он к моменту нашей встречи уже обошёл всех своих друзей в этом сером многоэтажном муравейнике, но безрезультатно. Голова его величавая продолжала болеть. Дело было ближе к полудню, и Геннадий Александрович сказал больному собрату по перу: «Пойдём ко мне, я тебя чаем из самовара напою». Леонид Иванович взбрыкнулся: «Какой чай из самовара в такую жару!» Но Паушкин настоял на своём. Мы удобно разместились в его кабинете вокруг самовара, Геннадий Александрович достал чашки, повернул краник, и из самовара потекла подозрительно красная жидкость. Леонид Иванович прищурил свой единственный глаз и быстро смекнул, в чём тут дело. Это было понятно по тому, как он мгновенно с поворотом самоварного краника перестал болезненно кричать. Да, это было вино, портвейн, то ли «Алабашлы», то ли «777». Леонид Иванович расчувствовался и прочёл стихотворение «Друзей по осени считают». Хорошее стихотворение, доброе. Жаль, что его я больше не слышал и не встречал. В увидевших свет книжках Топчия этого стихотворения нет. Как, впрочем, и некоторых других.

Одноглазый пират Леонид Топчий недолго был в поле моего зрения. В 1979 году его шхуна подняла свои лёгкие, косые паруса, и он поспешно отбыл в неведомые края. Поспешно и безвозвратно.

Сегодня его стихи, его имя возвращаются. Он шлёт нам свои поэтические приветы и в нас уже не нуждается. Теперь в нём, теперь в них, в этой великолепной казанской троице, нуждаемся мы. А ведь было время, когда им, необустроенным, неухоженным, почти нищим, необходима была помощь. Ну не помощь, так какое-никакое внимание. Они ведь п о э т а м и были и нуждались в обратной связи. Им, как здоровым беременным женщинам дети, нужны были свои полновесные книги, появившиеся на свет вовремя, при жизни. И не кастрированные, не почищенные-поправленные бдительными редакторами. Многие ли из нас могут похвастать, что не просто помогали им, а хотя бы при своих модно одетых друзьях не стеснялись, разговаривали с ними, принимали у себя? Многие ли из нас распознали в них больших поэтов, разглядели чистые, бескорыстные души, почувствовали их необходимость? Но умение распознать подлинный талант в живых, в не совсем опрятных с виду творцах и среагировать, шагнуть им навстречу – это тоже своего рода талант. Остановитесь, оглянитесь, не проходим ли мы равнодушно мимо новых Макаровых, Капрановых, Аникеёнков? Не отводим ли глаз от пронизательного и жёсткого взгляда современного Топчеге? Да, сегодня

все, даже те, кто знал их при жизни и, может быть, по тем или иным причинам не переваривал в душе, записывают себя в их друзья, витиевато вспоминают, глубокомысленно размышляют, стараясь приблизиться тем самым к их незримо, но верно растущему пьедесталу, желая погреть себя в лучах ещё не совсем полноценной, а только-только зарождающейся славы.

А что такое слава поэта? Мне она представляется очень капризной, ветреной и не всегда справедливой дамой. Вот лежит на бульваре по осени плотный ковёр листвы. И какой красоты, какого своеобразия только нет среди этих листьев! Кленовой резьбы, багряно-золотого окраса листочки один другого краше. Но вот подул ветер, завихрил всю листву, да невзначай поднял в небо над городом всего-навсего один лист, показал его всем, продемонстрировал, и все сказали – да, это шедевр, это необычно и ни на кого не похоже. А похожие и, может быть, даже лучшие, лежат в неизвестности под ногами и никому нет до них дела.

На общероссийском поэтическом бульваре по-настоящему не признанной и не показанной широкому кругу читателей осталась как раз наша казанская троица, которую капризная судьба по большому счёту проигнорировала и о которой мы решили напомнить в трёх номерах «Казанского альманаха». Ничего, сказали мы себе, капля камень точит. По крайней мере у нас в республике по отношению к ним лёд тронулся. Тронется он, я уверен, и по России.

Ахат Мушинский

